**Lita**

Письмо.

«Здравствуй, мама! Пишу тебе милостью моих врагов, пообещавших, что последнее мое письмо дойдет до тебя. Пишу, хотя знаю, как тяжело тебе будет получить его; пишу, потому что знаю - еще тяжелее тебе будет до конца твоих дней ждать сына, который не вернется. Это война, мама. Мы могли победить, но победа досталась другой стороне. А победители всегда судят побежденных сурово, хотя именно за их счет завоевали это право – судить. Прости, я не хотел жаловаться. Я все еще люблю жизнь, мама, хотя меня казнят через несколько минут. Та, Что Приходит За Всеми смотрит на меня из Темноты, а я до сих пор не верю, что умру. Я хотел сказать совсем не это… времени мало и скоро оно закончится совсем. Не жди меня, мама. Я не вернусь. Но может быть…»

Глубоко за полночь она услышала звон колокола на том берегу Ручья. Правда, проснулась она не от этого – ей всегда плохо спалось с тех пор, как пришло то письмо... Колокол прозвонил снова. Женщина глянула в сторону окна и тут же вспомнила - в нем нет ни одного стекла, сквозь которое она могла бы увидеть, кто стоит там, на том берегу. Увидеть? Даже не будь окно заколоченным, она не увидела бы ничего в мерзлой темноте ночи.   
Она встала и зажгла огонь, не собираясь подходить к двери и хоть как-то отвечать звонившему, но звук колокола, как крик ребенка, рвал ей сердце. Сколько раз она слышала его? Сто? Тысячу? Почему же именно теперь он так тревожил ее? Миром правили ночь и темнота - простые, не страшные; она давно уже никого и ничего не боялась - значит, это был не страх.   
Она все-таки подошла к окну, помедлила, ожидая, что незваный гость уйдет сам и, услышав, как язычок колокола снова ударился о тусклую медь, рывком распахнула крохотную форточку и громко и крикнула в темноту:   
- Уходите! Я не стану опускать мост!   
…Мост, подумать только! Когда-то это и в самом деле был мост, а теперь – несколько сколоченных вместе досок, да старая веревка, да ворот, с помощью которого она опускала мосток на тот берег Злого Ручья. Ее муж хотел, чтобы она всегда была в безопасности – а то время было куда более страшным, чем нынешние времена. Поэтому он построил дом на пригорке возле Ручья, выкопал глубокий ров и отвел воду так, чтобы дом оказался стоящим на острове. Ледяная, бурная вода уносила любого, кто осмеливался ступить в нее, но так же охотно и помогала ей, молодой, начисто простирывая, пробивая морозной свежестью даже самое грязное белье.   
Незваный гость услышал ее крик и больше не притронулся к колоколу. Но сквозь вечный шум не замерзающего в любую стынь Злого Ручья до нее, глубоко вдыхавшей ледяной воздух пополам со снежинками, влетавшими через форточку, вдруг донеслось странное тихое слово:   
- Мама…   
Услышав его, она поперхнулась морозной свежестью и на долгий миг совсем престала дышать. Неужели ей не послышалось?   
…Может быть, в конце концов, она и впустила бы его. Да, именно так она бы и поступила. Так она поступала с тех пор, как умер ее сын, с тех пор, как получила то письмо – поступала в память о сыне, и с горькой благодарностью тем, кто позволил ему в последнюю минуту написать матери. Так она приветила однажды лихого человека, который вошел в дом гостем, но стал хозяином. Да, она впустила бы того настырного, который звонил не меньше получаса, если бы он не произнес этого родного слова чужим голосом. Где-то и как-то он узнал о ее горе и пожелал воспользоваться им, не зная, что так - не сможет, не подозревая даже, что она никому не позволит ранить свое сердце, на котором уже не осталось места для новых ран.   
- Уходите! – снова крикнула она, и повторила с рвущим душу отчаянием, - уходите!   
- Мама, - повторил ночной гость, - это же я...   
Одного слова «мама» было достаточно, чтобы заполнить пустоту, которую она ощущала так долго. Но ощущение было настолько странным, что напугало ее. И как корабль к спасительной гавани, как ребенок, ищущий защиты и утешения, взгляд ее потянулся к комоду, где стояла шкатулка с письмом сына. Там было все, что у нее осталось - там, а вовсе не здесь. Здесь у нее не было ничего, и недаром она дала себе обещание никогда не ждать, никому не верить, обещание, оберегавшее ее от того, что происходило с ней сейчас. Ведь если бы тот, за окном, снова сказал «мама», она закричала бы.   
Не отрывая глаз от письма вынутого из шкатулки (и когда она только успела?) женщина тихо попросила:   
- Уходи…   
Человек, стоящий на том берегу не мог слышать ее шепота.   
- Мама, - снова сказал он, - прости меня, мама, я не мог вернуться раньше. Пожалуйста, впусти меня. Я долго шел к тебе, я устал и замерз…   
- Уходи! – крикнула она, не надеясь даже, что он поймет и покорится, - уходи, уходи, уходи!   
И со стуком захлопнула крошечную перекошенную форточку. Форточка не хотела закрываться, она только хлопнула об раму, и растворилась еще шире, впуская в дом еще больше снежинок, морозного воздуха и чужого отчаяния.   
- Мне больше некуда идти, мама. Я уже пришел… пришел домой.   
Женщина подошла к комоду, открыла шкатулку, положила письмо внутрь и закрыла крышку. «Нет», - сказала она себе просто. «Нет» - хлопнула, закрываясь, крышка шкатулки. Тот, за ручьем, сказал еще что-то, но она больше не слушала, не хотела слушать. Женщина затеплила огонь в печи, оглядела то, что осталось от некогда уютного красивого дома – в нем, как и в ее жизни, были теперь лишь осколки, обломки, останки, - подобрала с пола оброненное, незаконченное вчера шитье и принялась за работу. Руки, помнившие прикосновение к письму сына - как к чему-то живому! - делали беспорядочные стежки.   
Голос и колокол больше не звучали.   
Работа продвигалась на удивление быстро, хотя она совсем не торопилась, наоборот, старалась затянуть ее, отдалить момент, когда старое платье будет заштопано. Больше в доме нечем было заняться, а выходить она не хотела, хотя нужно было принести еще дров, надо было подмести снег с дорожки, проверить, наконец, старую веревку моста – как она там - еще держится? (держится, куда ей деваться-то? Денег на новую все равно не было). И веревка и весь этот дом, и хозяйка его только так и держались – потому что им некуда было деваться.   
Платье было заштопано. Рассвет еще не наступил. Безделье навалилось на нее тяжелее стылого неподъемного камня. Она так привыкла заниматься хоть чем-то – просто потому, что человеку даны беспокойные руки – и теперь вот вынуждена была отдыхать... Какой там отдых! Она ходила из угла в угол, переводя взгляд с одного старого деревянного кресла на другое; со стола о трех ножках на стену, которая впитывает известь как губка и не становится от этого светлее, но зато сажу не впитывает совсем; глядя на забитые, заколоченные снаружи досками, а изнутри – толстой кожей окна без стекол – человек, который однажды пришел гостем и стал хозяином, ушел, забрав все хоть сколько-нибудь ценное, даже вынул стекла из оконных рам... Как можно отдохнуть, беспокойно ища чего-то на полу, среди старых ковриков, и на потолке, некогда расписанном цветами? Коврики были старыми не потому, что состарились. Полгода назад она соткала новые, но стоило постелить их, как они утратили яркость, краски потускнели, а края ковриков, ровные и четкие, вдруг обратились расплывчатой неряшливой бахромой. После этого – и после того, как бесследно исчезли нарисованные ею – поверх старых, почти уже незаметных – цветы на потолке, - она престала пытаться украсить свой дом.   
…Не для кого, не для чего. Ей и так было хорошо, одной. Муж не вернулся с одной войны, сын – с другой. Все остальное было уже ненужным. Если она замечала, что стало грязно, то убиралась. Когда чувствовала холод, топила печь, голод – готовила и ела. Иногда в ней просыпалось прежнее – и женщина приготовляла какое-нибудь сложное блюдо, что нравилось ей, ее мужу или сыну, бралась за починку тех платьев, что у нее остались, или шла в гости. Ее всегда охотно принимали, но с какой-то опаской, словно то горе, что она несла на себе, было для остальных болезнью, которой можно заразиться…   
…Рассвет все-таки наступил. Тонкие лучи протянулись сквозь щели – свет, как и горе, всегда находит свой путь, и женщина погасила свечи. Ей казалось, что она, наконец, успокоилась, что может лечь и уснуть – так иногда случалось, что ночная бессонница оборачивалась дневным сном, но там за дверью, за Злым Ручьем все еще был он. Она не слышала его, но чувствовала. И от этого в сердце рождалось беспокойство, не дававшее думать ни о чем другом, кроме странного гостя.   
Она полежала немного и поднялась. Поставила котелок с супом в печь, в очередной раз добавила дров и стала, опустив пустые руки. Нужно было чем-то занять их, но было нечем. Кутаясь в подбитую вытертым мехом накидку, женщина позавтракала, наблюдая как ярче, чище, сильнее становятся рассветные лучи. Интересно, что делает сейчас гость за Ручьем?   
Руки сжались, сминая что-то шуршащее и тонкое. Она опустила взгляд и увидела, что снова держит в руках письмо сына. Удивиться - или возмутиться - она не успела. Ей вдруг ясно представилось, как ночной гость сидит на снегу – в старом полушубке, куда более вытертом, чем даже ее древняя накидка, в подвязанных веревками разваливающихся сапогах и чем-то, что уже нельзя было назвать шапкой – нелепом колпаке из кусочков кожи, проложенных для тепла бумагой – вы только подумайте - бумагой! - и содрогнулась. Как же ему холодно сейчас! Снег – это ведь не теплый пол в доме, не ветхое рукотворное кресло, в котором еще можно сидеть, хоть и с большой осторожностью, и даже не камень, один из тех, что стоят во дворе. Снег куда холоднее, а за порогом еще и метель... Женщина встала, на деревянных ногах подошла к комоду, открыла и закрыла шкатулку, запирая в ней непослушное, то и дело вырывавшееся на свободу письмо. Потом подошла к двери, раздумывая, не открыть ли ее – хотя бы для того, чтобы посмотреть на человека который назвал ее «мама». Но все еще было слишком темно и это и радовало ее и печалило. Она все равно не смогла бы увидеть и решила не открывать, не выпуская туда, наружу свою надежду. А он, даже если и был ее сыном, не узнал бы ее теперь. Горе никого не красит - а она знала, что старость приходит быстрее к тем, кто несчастен. Теперь она была такой же развалиной, как и ее дом, державшаяся просто потому, что ей не осталось ничего другого.   
Она услышала за дверью какой-то звук и прислушалась. Гость пытался петь. Это была песня-молитва; ее она пела когда-то сыну. То есть и ее тоже. Он мог просто угадать – если конечно хотел угадать – но ее сердце дрогнуло и потянулось навстречу хриплым странным звукам:   
- Ты сохрани, Господь, нас от беды,   
От злого недруга, от черного недуга,   
От черной зависти лихого друга,   
Ты сохрани, Господь, нас от беды.

От жажды нас, всевышний, сохрани   
Слова спускать с цепи и то и дело   
Чужие души штопать неумело,   
От жажды нас, всевышний, сохрани   
Женщина поймала себя на том, что тихонько подпевает. Она забыла, как петь – она должна была забыть, но что-то другое в ней – не память, нет – знало, как, и возвращало ей эту способность. Ради чего? Ради странного гостя за дверью, который, замерзая на снегу, пел песню, которая по-настоящему и не была песней?   
- От трусости, о Боже, защити,   
От страха быть неправым или правым,   
От верности слепой звериным нравам,   
От трусости, о Боже, защити!

Нас от тоски храни, Создатель наш,   
По тем, кого уж больше нету рядом   
По искренним словам и мирным взглядам,   
Нас от тоски храни, Создатель наш.

Нас от невозвращенья сохрани,   
От запертых дверей, от веры малой,   
Любви слепой, надежды запоздалой,   
Нас от самих себя, Господь, храни.   
Зачем вообще люди делают то, что не прибавляет им счастья? Они вынуждены иногда, это так. Но иногда они все же могут выбрать и отказаться! Так почему же этот человек сидит на снегу и поет?..   
Впрочем, уже нет. Песня закончилась, а женщина все прислушивалась, словно ждала новой песни. Поняв что, действительно ждет, она обругала себя. Человеку плохо, он голоден и замерз, а она ждет, чтобы он развлек ее!   
- Помнишь, мама, как ты пела мне эту песню? – спросил он.   
Она словно окаменела. Конечно, она помнила. Только вот ему неоткуда было помнить, ведь он не был ее сыном. Ее сын умер, его казнили в далекой стране девять лет назад. И ничем другим он не мог так хорошо напомнить ей об этом, как такими словами.   
А он еще не успокоился.   
- Я всегда любил песни, помнишь? Ты пела мне их в каждую свободную минутку, если только я был рядом, и даже когда времени не было. Ты никогда не говорила, «подожди, мне некогда». У тебя всегда находилось время и для меня и для отца.   
Это было такой же правдой, как и то, что ее сын любил эту недетскую песню-молитву. Но это было оскорблением для нее – то, что кто-то, невесть как прознав обо всем этом, покушался на неприкосновенность и святость ее памяти.   
Женщина отошла от окна.   
Если бы существовала вечность, то, наверное, она была бы именно такой. Ведь вечность – это не когда ты живешь день, и год, и десяток лет, и потом еще, и тебе все еще остается прожить очень много – всегда! Вечность – это когда одна секунда растягивается на целые сутки, а сутки обращаются в год. Так и было.   
Гость за рекой снова пытался петь, но больше уже это не было похоже на песню. Шум Злого Ручья не мешал ему, а может, мешал, но все равно его голос она слышала лучше, чем шум воды. Он говорил - все тише и тише. Это заставило женщину прислушаться – вопреки ее обещанию, вопреки здравому смыслу. Заставило лучше, чем смог бы заставать крик. А потом она услышала совсем уже тихие, едва различимые всхлипы. Гость плакал. Или быть может, притворялся что плачет. Если он был лихим человеком… Она не верила в это. В ее доме больше нечего было взять и не из-за чего было устраивать такой спектакль.   
Всхлипы быстро смолкли.   
- Прости, мама, - сказал он, - я больше не буду. Ты очень огорчалась, когда я плакал. Я не хочу огорчать тебя.   
…Она заплакала. Она часто плакала в эти девять лет так что же? Разве эти слезы были менее горячи и горьки, чем ее первые в жизни слезы? Разве они были другими, чем те, которыми плакал человек за Ручьем?   
Когда она потянулась - отпереть засовы то обнаружила что снова держит в руках письмо.   
Встать и положить его в шкатулку не было сил. Все что было, она потратила на борьбу со своим сердцем, решившим поверить в невозможное. Вспомнился снова тот человек, который пришел как гость, остался как хозяин, и ушел как вор. Однажды он прочитал письмо ее сына, но ничего не сказал.   
Женщина села на пол, прислонившись спиной к двери. Ей казалось, что она уже не сможет сдвинуться с места. Когда слезы иссякли – не скоро – кажется, день закончился и яркое солнце клонилось к закату, наводя сумерки снаружи и внутри, в доме, - перед глазами ее замерцал какой-то другой свет. Не похожий на те лучи – утренние или вечерние, что так ловко и просто проникли в ее дом. Она слышала, что пелена застилает глаза человеку перед тем, как он совсем ослепнет. Вспомнив об этом сейчас, женщина не испугалась. «Хорошо, - подумала она, - тогда, даже если я открою дверь, то не увижу его. Не узнаю, что это обман». Пелена становилась все толще; она накрывала не только глаза – заслоняла от нее мир или, быть может, ее от мира – она ложилась подобно снегу на все ее чувства, притупляя их. Правда, снег этот не был холодным, как тот, снаружи.   
Гость закашлялся и кашлял долго и с таким надрывом, что моги она еще ощущать жалость, то ощутила бы ее. «Он болен. Может быть он умирает». «Все умрут», - тихо отзывалось сознание из-под спуда нападавшего на нее беззвучного, неощутимого и такого легкого снега…   
Наверное, потому что это роднило ее с незваным гостем – его тоже засыпал снег – она вдруг снова прозрела. Но не глазами – тем же самым, что в ней еще помнило как петь. И прозрев, она увидела его – он, в самом деле, сидел в снегу и снег, засыпавший его, не давал рассмотреть лица, опущенного к самой груди. Наверное, он спал. А может быть это уже был не сон.   
Дрожь сотрясла тело матери. Дрожь заставившая осыпаться сугробы с ее души и сердца, сбросившая – резким, больным рывком - пелену с сознания. «Неужели я позволю, чтобы человек умер перед моим домом? Неужели я убью его, живого? Отниму жизнь – у лгуна и негодяя, решившего прикинуться моим сыном? У живого человека? Мальчика, юноши, мужчины?» Дрожь, все еще сотрясавшая ее, не пошевелила ни снежинки на том, кто сидел на другом берегу.   
Женщина сложила письмо которого так и не выпустила из рук, торопливо упрятала за пазуху, выбежала на улицу. Почти не одетая, спешащая, так же легко превращавшая этой спешкой минуты в доли секунд, как ожиданием превращала их в целые дни. Промерзший, засыпанный снегом ворот не хотел вращаться. Веревка скрипела, выбирая мгновение когда ей, наконец, порваться, потому что можно держаться, коли уж нет ничего другого, но нельзя держаться – вечно. Женщина остановилась, задыхаясь. Убрала руки с рычагов. Она знала – так точно, как знает солнце, когда ему садиться, как знает зверь, что эта трава – отрава, а другая – лекарство, как влюбленный знает Истину – что веревка не выдержит, порвется. Шумел, клокотал ледяной Злой Ручей. Она вспоминала, что когда-то, очень давно – там было под самое горло ее высокому мужу. Потом ручей обмелел, но на характере его это никак не сказалась, да и широк он был, как и прежде.   
Ей показалось что тот, на другом берегу пошевелился - не так как шевелятся живые. Как будто Смерть положила на его плечо Свою руку и он склонился на бок под ее тяжестью. Сердце толкнулось в грудь и рядом с ним, горячей и отчаянней первого.   
Женщина шагнула в воду…   
…Она не смогла. Дошла всего лишь до средины ручья и почувствовала, что стоит оторвать от дна одну ногу, как ее унесет течением. Идти было нельзя и стоять – нельзя тоже, промерзая до мозга костей, до самых мыслей – таких огромных, что они не помещались в разуме и таких одинаковых: «Не могу, не смогу…» Только горячий ком все еще пульсировал в груди, остывая с каждой минутой... Она все же попыталась, отчаянно глядя на замерзающего (а может, уже и замерзшего) пошевелила ногой, готовясь шагнуть. Разъяренный поток, в гневе от того, что кто-то смеет сопротивляться ему, ударил без жалости. И одновременно горячая боль толкнула в грудь. Женщина вскрикнула, не осознавая, что кричит единственное, что способно пробиться в темноту, куда уходил человек на том берегу.   
- Сын! – так закричала она.   
Сидящий на снегу поднял голову и посмотрел на нее.   
Еще секунду она боролась с потоком одна, а потом человек резко встал, стряхивая снег, (о как много его было, еще бы чуть-чуть и ему бы уже никогда не подняться!) одним прыжком перелетел с берега в Злой Ручей, схватил ее за плечи, притянул к себе.   
- Мама!   
Он был тонок и худ, и худоба его чувствовалась даже под зимней одеждой. Серое страшное лицо, сутулая спина... Но все же он был похож, так отчаянно похож на ее сильного высокого гордого сына! Она, узнавшая его, не боялась больше, что он ее не узнает.   
- Мама, - сказал он, продолжая тянуть ее к берегу – даже двоим им трудно было стоять против потока Злого Ручья.   
- Сын, - повторила она голосом – своим голосом, тем что остался прежним, не изуродованным, не исковерканным. А у него был другой голос, но похожая внешность. Как просто было бы им не узнать друг друга!   
Злой Ручей вспенивался и бурлил и вдруг затих и успокоился. Нет, он не стал гладкой водой, но, сейчас глядя в серебристо-голубую, мягкую, пронзительно-чистую воду, никто уже не назвал бы его злым. Второе сердце, бившееся рядом с первым в груди матери осторожно напомнило ей о себе, и о том, что нужно идти.   
Двое вошли в дом, помогая друг другу в том, в чем только человек может помочь другому человеку. Женщина затворила дверь и обернулась к тридцатилетнему мужчине, которого помнила безусым юношей. Он уронил у порога свой колпак, когда помогал ей с задвижками, и теперь она увидела, что он наполовину сед.   
- А как же письмо? – спросила она тихо, положив руку на грудь, где билось теперь только одно сердце.   
- Все что я написал, было правдой, - ответил он тихо, - когда я писал, это было правдой, но потом стало ложью. Им нужны были рабы, поэтому всех оставшихся солдат не казнили, а заковали и отправили работать. Я не мог бежать мама, у них были собаки и…   
- Сын, - она остановила его, теребя, стаскивая с него нелепую одежду, шуршащую так, словно и она тоже была подбита бумагой, шуршащую как старое письмо с горькими строчками, усаживая к огню, ставя в печь котелок с остатками супа, - мой сын. Ты дома.   
- Да, мама, я дома, - он несмело улыбнулся, так, что она едва не расплакалась. Это была чужая улыбка, и это была страшная улыбка. В лицо врагу так улыбаются, а не матери.   
- Я не закончил письма, - зачем-то сказал он, опуская глаза, как-то поняв, что его улыбка потрясла ее, и, залившись от этого нехорошей багровой краской, - но я помню что хотел написать дальше. Хочешь узнать?   
Она хотела. Всегда хотела узнать что там за этим «может быть», но мгновение «здесь и сейчас» казалось ей неподходящим для этого. Миг счастья. Всего лишь один миг, потому что она – хоть и поверила в сына – не верила, что сможет удержать надолго это беспримерное счастье – быть не одной. Он был голоден, он замерз чуть ли не до смерти. Нужно было отогреть его, и чтобы не заболел пропарить насквозь в крохотной баньке, и растереть тем едким настоем, который всегда хорошо помогал ему, маленькому, и ее мужу. Нужно было отвоевать у зимы и у времени все то тепло, которое, они задолжали ей, матери и ему, ее потерянному и найденному сыну.   
- Когда-нибудь, - сказала она, - когда-нибудь…

«…но может быть есть на земле и над землей что-то, что сильнее чем жизнь, и даже сильнее смерти. Свет той звезды, что светит мне и сейчас, живая вода неиссякаемого родника, прохладная и горчащая... После нее всякая сладость горчит, но без нее - ничто любая сладость... О, мама, ты научила меня и этому тоже - что сладость жизни ничто без горечи жизни, что ни одна звезда не светит просто так - в пустоту, а всегда для кого-то, что одиночества не бывает. Ты рядом со мной всегда, когда я думаю о тебе. Спасибо за то, что здесь и сейчас я не один. С благодарностью и любовью, твой сын».